

A street scene in a European city, likely St. Petersburg, at dusk or dawn. A tram is visible in the foreground, moving along the street. The buildings are ornate and historic, with a large street lamp hanging from the wires. The sky is a mix of blue and orange, suggesting the time is either early morning or late evening. The overall atmosphere is nostalgic and historical.

Алексей Кукушкин

Странник в мире Техденсера

Алексей Кукушкин
Странник в мире Техденсера

«Автор»

2026

Кукушкин А. Н.

Странник в мире Техденсера / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

Герой читал странные статьи про, беспроводные трамваи и купола, которые дышат эфиром. Автор видел обрывки: старые фотографии, обугленные каркасы, намеки в газетных заметках. Он собирал информацию по крупицам, так и не услышал главного. Теперь у тебя есть шанс. 1888 год. Москва, особняк с медными жилами в стенах. Ты тот, кто открыл глаза в чужой постели и понял, что эфир не выдумка. Он течет по проводам, поет в трубах, зажигает звезды на куполах. Он везде, в каминах, которые греют без дров, в локомотивах, которые едут без пара, в дирижаблях, которые держатся в воздухе на вакуумных баллонах. Техденсер лишь догадывался, а ты увидишь. Здесь нет бензина и угля. Есть медь, амальгама и формула, которую пытаются запретить. Железная кровать согреет тебя сама, а пыльный коммутатор в музее оживет в твоих руках. Здесь летают корабли, которые сгорели в нашем мире и здесь, те, кто помнит, они расскажут об этом. Дыши эфиром. Слушай, как поют медные жилы. Открывай то, что автор оставил за кадром...

© Кукушкин А. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Начало приключения	5
Мытищи	11
Особняк	15
Восемь колодцев эфира	17
Разговор о тайной организации	23
Ошейник девушки	26
Дорога на Север	28
Дирижабль	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Странник в мире Техденсера

Начало приключения

Купеческий особняк, Москва (район Хитровки), 1888 год, поздний вечер.

Я открыл глаза. Потолок нависал надо мной, темное дерево с медными прожилками. Они пульсировали, не мигали, не мерцали, а именно пульсировали, как будто дом дышал. Золотистый свет разбегался по венам, уходя в стены, в пол, в темные углы, где пряталась старина.

В голове гудело, не больно, а так, тягуче, как после долгого сна без сновидений. Во рту привкус олова и еще чего-то сладковато-едкого, отчего хотелось сплюнуть, но я сдержался.

Кровать была железная. Под простыней угадывались жесткие пружины, но грели они так, будто я лежал на современном одеяле с подогревом. Странно, приятно, и непонятно.

В углу комнаты что-то мерно стучало. Я приподнялся на локтях, не часы, а тяжелый маятник, но он не висел на стене, а был соединен цепью с чугунной «вазой». От вазы тянулась тонкая проволока к люстре. Люстра не горела, но тускло тлела, как уголек в пепелище.

Я провел рукой по лицу, на нем чувствовалась щетина. Дня два, наверное или три. Дверь скрипнула.

— А, очнулись, — сказал вошедший.

Он был в длинном сюртуке, без галстука. Вместо него на шее кожаный ошейник с медной бляхой, на бляхе красовалась пятиконечная звезда. Я таких раньше не видел. Не наши, не церковные, какие то другие.

— Хорошо, — продолжил он, разглядывая меня. — Инженер из Берлина вас уже жаждался, Цукерман? Или как вас там зовут?

Язык ворочался плохо, но я выдавил:

— Дансер, то есть Дэнсер. Иван Дэнсер.

Вошедший склонил голову, его бляха блеснула.

— Странно, — сказал он тихо. — Нам сказали, что фамилия будет Цукерман.

В голове щелкнуло. Я вспомнил старый анекдот. Про КГБ, про допрос, про фамилию. Тот самый, где из Сахарова делают Цукермана.

Я понял, что провалился, не знаю, на чем, но провалился, первый же тест и сразу мимо. Кровать подо мной продолжала греть. Люстра тлела. В горле стоял привкус эпохи, которую я не застал, но которая сейчас давила на плечи.

Вошедший вышел. Дверь закрылась. Стук маятника раздался: раз, два, три. Он отмерял не только время, но и частоту. В каждом ударе мне чудилось: «семьдесят градусов тридцать две минуты», тот самый угол, про который писал автор. Двугранный угол тетраэдра, который не вписывался.

Я сел, пружины подо мной не скрипнули. Они загудели тихо, ровно, как трансформатор в подстанции. В животе урчало. В горле пересохло. За окном, сквозь мутное стекло с узорчатой решеткой, пробивался серый рассвет. Москва-1888 встречала меня не хлебом-солью. Медным привкусом во рту и липким страхом.

На стуле у кровати стояла глиняная кружка и тарелка с горбушкой черного хлеба. Я не помнил, чтобы их оставляли. Значит, заходили. Пока я лежал. В кружке была не вода. Жидкость отдавала оловом, тем самым, оловянно-ртутной амальгамой, про которую я читал в статьях. Про беспроводные люстры. Про дома, которые греют сами себя. Я поднес кружку к губам, но не сделал глотка. Вместо этого поднял глаза к люстре. Та тлела в углу комнаты, питаясь от маятника и медных жил в потолке.

«Если это реально, — подумал я. — Если они правда получают свет из воздуха то я смогу это повторить».

Я встал, шатался. Подошел к стене, где от маятника отходила цепь, и коснулся медной «вазы». Пальцы обожгло холодом. Не электричеством, а чем-то другим, как бы эфиром. Поток, который не бил током, а просто знал, что ты к нему прикоснулся. Люстра на секунду вспыхнула ярче. Я сделал выбор, что я не сбегу, останусь. Узнаю, как это работает, а потом узнаю, почему это исчезло в будущем. Хлеб я съел. Жидкость из кружки вылил в щель между половицами. Мало ли что.

Дверь открылась без стука. Вошедшая оказалась девушкой лет шестнадцати. Простое серое платье, белый передник. На шее её красовался тоже кожаный ошейник, без бляхи, только с медной заклепкой. Она несла поднос, миску с чем-то горячим, ломоть хлеба, кружку и кувшин.

— Вы проснулись, — сказала она без удивления. — Барин велел накормить.

Она поставила поднос на стул и принялась поправлять свечи в подсвечнике у двери. Свечи были не восковыми, а металлическими, с фитилем из скрученной проволоки.

— Где я? — спросил я, мой голос хрипел.

— Хитровка, — ответила она, не оборачиваясь. — Дом купца Лопатина. Барин его снял для своих дел.

— А барин кто?

Она наконец повернулась, посмотрела с любопытным, легким испугом.

— Вы не знаете? — голос понизила до шепота. — Фон Штакельберг, он немец, из Берлина приехал, говорят, по особому поручению. Наши его побаиваются. Говорят, он с самим графом Цеппелем знает.

Название ударило как током, Цеппель, Васильсурск. Дирижабли, которые строили в Поволжье до того, как все сгорело.

Я взял кружку. В ней был не чай. Мутноватая, пахнувшая травами и оловом жидкость.— Что это? — спросил я.

— Взвар, — сказала девушка. — На меду и кореньях. Барин всем его дает. Говорит, от хворей помогает и голову просветляет.

Она помолчала, потом сказала: "А вы правда инженер?"

Я посмотрел на кружку, на металлические свечи. На медные жилы в потолке. Взвар пах так же, как жидкость, которую я вылил в щель. Я не знал, можно ли это пить. Не знал, можно ли верить этой девушке. Ее ошейник, испуганный голос, вопросы, все могло быть ловушкой. Дилема стояла жестко. Либо я принимаю правила этого мира и доверяюсь ему. Либо начинаю проверять каждую деталь, рискуя выдать себя с головой.

— Да, — сказал я наконец. — Из Германии, только не инженер, а собиратель, ищу старые вещи и то, как ими пользоваться.

Девушка кивнула. В глазах застыло недоверие. Она вышла. Дверь закрылась, таким тихим медным звоном. Взвар я не стал пить. Кашу из миски съел. Горячая, гречневая. Ничего странного.

«Теперь надо все проверять, — решил я. — Начать с дома. Прямо сейчас».

Я нашел кожаные сапоги у кровати. Не мои, но впору и надел, почувствовав уверенность. Вышел в коридор. Медные шины на стенах гудели громче, чем ночью, или мне только казалось. Я шел на звук, туда, где гул превращался в отчетливый звон. Похожий на тот, что издают высоковольтные линии под дождем. Коридор вывел к лестнице наверх. Я поднялся, дверь в конце коридора была приоткрыта. Я толкнул ее.

Кабинет оказался неожиданно просторным. Высокий потолок, окно во всю стену. За ним развернулась панорама утренней Москвы. Купола, трубы, шпили. Где-то далеко, за Яузой, я разглядел приплюснутые силуэты, не церковные маковки, а металлические навершия с тускло

горящими звездами. Но не это приковало мое внимание. Посреди комнаты стоял стол, не письменный, а чертежный с наклонной столешницей. На ней была карта, не обычная. Без названий улиц и кварталов. Только линии. Толстые, тонкие, прерывистые. Они расходились от центра, от того места, где на современных картах значится Кремль, веером расходились: к окраинам, к Мытищам, к Ярославскому шоссе, к югу, к Серпухову. На каждой линии стояли отметки. Маленькие пятиконечные звезды. Я наклонился, чтобы рассмотреть ближе.

— Любопытно, правда?

Раздался голос за спиной. Я обернулся. В кресле у окна, закрытый полупрозрачной шторой, сидел человек. Я не заметил его сразу, так как он не двигался. Только пальцы левой руки лежали на подлокотнике, и в них он крутил медную монету с дыркой посередине.

— Фон Штакельберг, — представился он, не вставая. — А вы, молодой человек, тот самый «собиратель старых вещей»?

Он говорил по-русски чисто, почти без акцента. Смотрел так, будто читал меня насквозь.

— Я да, — сказал я. — Интересуюсь старыми технологиями.

— Старыми, — повторил он, усмехнувшись. — Эти линии, — он кивнул на карту, — были проложены триста лет назад, их рисовали люди, которые умели заставлять камни петь.

Он встал. Я оказался выше него на полголовы, но он смотрел сверху вниз. Так смотрит мастер на ученика, который взялся не за свой инструмент.

— Цукерман, которого я ждал, — сказал он, — был специалистом по оловянной амальгаме. Он знал формулу. А вы?

Он выдержал паузу: "Вы даже не знаете, что в вашей кружке было не лекарство, а растворитель. Вы вылили его на пол. Дерево под вашей комнатой теперь будет светиться еще долго".

Он подошел к столу, провел пальцем по одной из линий. От центра до звезды на окраине.

— Кто вы? — спросил он тихо. — Шпион? Или просто дурак, который нашел не ту дверь?

Я молчал. Медная монета в его пальцах щелкнула. В тот же миг карта под его рукой засветилась. Голубоватые вены заструились по вырезанным в дереве каналам. От Кремля к Мытищам. От Мытищ к неизвестной мне звезде на северо-востоке. Я понял, что еще одно неверное слово и меня вышвырнут вон, или хуже.

— Я не Цукерман, — сказал я. — И не из Берлина, я исследователь, издалека, ищу то, что умели делать люди раньше. То, что теперь забыто. Штакельберг не удивился. Он продолжал крутить монету.

Свет на карте пульсировал в такт ее вращению.

— Издалека, — повторил он. — Это может означать что угодно. С Урала? Из Сибири? Или вы хотите сказать, что пришли из-за границы через всю Европу, чтобы посмотреть на мои карты?

— Я хочу понять, как это работает, — я кивнул на пульсирующие линии. — Ваши звезды, свет, дом, который греет сам себя, люстра без свечей.

Штакельберг усмехнулся. Положил монету на стол. Она звякнула о дерево. Линии на карте погасли, но не полностью, остались слабо тлеть, как угли под пеплом.

— Это не мое, — сказал он. — Это старое, очень старое. Старше Москвы, старше Рюрика. Старше, наверное, самого дьявола. Я всего лишь восстанавливаю то, что сломали, а ломали много и часто.

Он подошел к окну, отодвинул штору. Свет ударил в комнату. Я увидел его усталое лицо, с глубокими морщинами вокруг глаз. Но с живым, острым взглядом.

— Вы сказали, что ищите утраченное, — он обернулся ко мне. — Хорошо, я дам вам шанс его найти.

Он помолчал: "На крыше этого дома стоит устройство. Мои люди называют его «железой». Оно собирает эфир и питает весь особняк. Три дня назад оно перестало работать. Свет погас, тепло ушло. Я запустил резерв — маятник в подвале. Но этого мало".

Он выжидающе посмотрел на меня: "Почините, не знаю как, но почините. Если сможете, то я отведу вас в место, где таких устройств десятки. Если нет — он развел руками. — Вы уйдете туда, откуда пришли, а я найду настоящего Цукермана".

Я посмотрел на потолок. Сквозь штукатурку проступали медные жилы. На карту с тлеющими звездами. На его усталое, но жесткое лицо.

— Я попробую, — сказал я.

— Вот и договорились, — Штакельберг кивнул и сел в кресло. — Девушка проводит.

Он помолчал.

— И да, — добавил, когда я уже взялся за дверную ручку. — Не пейте взвар. Он для тех, кто привык к этому миру, а вы, я чувствую, еще нет.

Я вышел в коридор. Сердце колотилось. Я понятия не имел, как чинить устройство, о котором знаю только из статей: «Но если оно хотя бы отдаленно похоже на "благинь" из пантеона может, у меня есть шанс».

— Меня Агатой зовут, — сказала девушка, когда мы поднимались по узкой винтовой лестнице. — А вас как величать?

— Иван, — ответил я, имя всплыло в голове само собой. Но я не решился его повторить. Слишком странным оно звучало бы в этом мире.

— Иван, — повторила она, пробуя на вкус. — Простой человек, а барин говорит, что вы непростой.

— Барин слишком много говорит, — сказал язвительно я.

— Он умный, — Агата остановилась перед деревянной дверью с железной ручкой. — Опасный, но справедливый, если обещал показать место с диковинками, то обязательно покажет. Только вы это устройство почините. Он без него сам не свой и дом стынет.

Она толкнула дверь. Мы оказались на чердаке. Здесь пахло пылью, медью и еще чем-то сладковатым, едким, знакомым. Тем самым, что я почувствовал, когда коснулся стены в комнате. Эфир или то, что люди здесь называли эфиром.

В центре чердака, под самым коньком крыши, стояла конструкция. Деревянный каркас, а внутри расположились шесть медных сфер размером с детскую голову. От каждой сферы отходила проволока к центральному стержню — железному пруту, уходящему в потолок, а оттуда, должно быть, на крышу.

Большая часть проволоки была цела, но две сферы лежали на полу. Сорванные с креплений. Одна треснула, и из нее сочилась густая серебристая жидкость. Ртуть, или то, что с ней смешано. Я подошел ближе, стараясь не наступать в лужицу. Автор из моего времени писал о подобном: «благини». Сосуды с амальгамой, которые создавали вихревой ток в металлическом каркасе: «Если принцип тот же»

— Вам помочь? — спросила Агата с порога.

— Принеси тряпок, — сказал я. — И любую емкость, чтобы собрать эту жижу, быстро!

Она убежала. Я остался один. Стоял на коленях перед разбитой сферой. Пытался вспомнить все, что читал о «червонном золоте» и «оловянном свете».

«Если я ошибусь — дом просто не зажжется или зажжется так, что нас всех разнесет вместе с крышей».

Я глубоко вздохнул и начал собирать осколки. Потом поднял треснутую сферу и замер. Крепления, которыми она держалась на каркасе, были перепилены. Не сломаны, а именно перепилены. Аккуратно, почти ювелирно. Тонкий надрез на медной скобе. Такой, что при легком касании сфера держалась. Но стоило дому чуть сильнее вибрировать и она падала. Я осмотрел вторую сферу, та же картина. Ровное сечение на металле. Кто-то сделал это намеренно, это не случайность. Не ветхость, а саботаж.

Я выпрямился, оглядел чердак. Пыль на полу была нетронутой. Кроме моих следов и двух дорожек, ведущих к люку, никого не было. Тот, кто это сделал, заметал следы. Или умел ходить так, что не оставлял их. В голове зашумело.

«Если я скажу Штакельбергу, то что тогда? Он не знает меня. Я для него пришлец, назвавшийся чужим именем, а тут нахожу следы диверсии в его собственном доме. Самый очевидный подозреваемый, это я».

Меня могли подставить или проверяли.

«Если я промолчу и просто почию, то устройство заработает. Штакельберг будет доволен, но тот, кто перепилил крепления, останется в тени и ударит снова. В следующий раз, может, не по сферам, а по мне?»

Внизу послышались шаги. Агата возвращалась, я быстро сунул одну из перепиленных скоб в карман. Остальные придвинул на место, чтобы не бросались в глаза.

— Нашла, — сказала она, появляясь на лестнице с охапкой тряпок и глиняным кувшином. — Только ведро негде взять.

— Ничего, — ответил я, принимая тряпки. — Справимся.

Я начал собирать разлитую амальгаму, но мысли мои были не о починке. Я запоминал каждую деталь. Угол надреза, глубину, направление.

«Пока никому не скажу, — решил я. — Проверю все сам».

Трещина в сфере оказалась сквозной. Амальгама вытекла почти полностью. На дне осталась только густая, похожая на ржавую глину взвесь. Я перелил остатки из треснувшей сферы в целую. В той было больше, примерно на две трети.

— Агата, здесь есть медь? — спросил я. — Тонкая, как проволока или кусок железа. Хотя-бы небольшой.

Она ушла, а через несколько минут вернулась с медной вазочкой, той, что стояла в коридоре на тумбе и с горстью железных гвоздей.

Я разбил вазочку молотком, он нашелся тут же, в углу. Острые осколки меди завернул в тряпку и вставил в сферу через верхнее отверстие, так, чтобы они касались остатков амальгамы. Сверху поместил железный гвоздь. Получился примитивный гальванический элемент, но в этом мире, где медь и железо под эфирным полем начинали петь, этого должно было хватить. Я закрепил сферу на каркасе. Скоба держалась, но если кто-то толкнет, то упадет снова. Вторую, целую сферу поставил на место.

— Иди вниз, — сказал я Агате. — И скажи барину, чтобы подождал минуту.

Она ушла. Я отошел к люку, закрыл глаза. Коснулся рукой железного прута, уходившего в крышу. Память услужливо подбросила строки из статьи: «Благо всех ярусов полностью внутри, чтобы туристы не задавали лишних вопросов, все было спрятано в нишах или за тонкими стенами».

«Сейчас, — подумал я, — не до туристов».

Я толкнул прут. Снизу, из подвала, донесся глухой удар. Маятник остановился. На секунду стало тихо, а потом медные жилы в стенах загудели, запели, засветились мягким, ровным, молочным светом. Тем самым, что я видел только на старых фотографиях Пантеона в Курейке. Люстра внизу, та самая, что тлела в моей комнате, вспыхнула красивым свечением. Дом ожил!

Я спустился с чердака. Штакельберг ждал меня в коридоре и в первый раз за день, он улыбался.

— Работает, — сказал он. — Завтра едем в Мытищи, там я покажу вам настоящие чудеса.

Я кивнул, но промолчал про скобу в кармане.

В начале ночи я не спал. В комнате было слишком тепло для марта 1888 года. Медные жилы в стенах пульсировали мягким золотистым светом. Не резали глаза, но и не давали сомкнуть веки. Я лежал на железной кровати. Сжимал в кармане перепиленную скобу. Ждал,

когда в коридоре стихнут шаги. Штакельберг ушел к себе около полуночи. Агата еще раньше. Я слышал, как хлопнула дверь вниз. С тех пор в доме воцарилась тишина. Только гул проводов и мерный звон маятника в подвале. Тот самый, который я остановил, когда запускал «железу». Я встал, нащупал сапоги, вышел в коридор. Светящиеся жилы тянулись вдоль стен. Как вены гигантского организма. Я пошел на звук. Туда, откуда доносился звон маятника. Лестница вниз была узкой, без перил. Каждые несколько ступеней медная шина делала изгиб, уходя в стену.

Подвал оказался не подвалом в моем понимании. Круглая комната с кирпичными сводами. В центре висел маятник, тяжелый медный шар на железном стержне, уходящем в потолок. Маятник не качался. Стоял неподвижно. Но гудел. Гул шел не от него, а от стен, от линий, которые расходились из этой комнаты во все стороны, как лучи. Я подошел ближе. На полу, у основания стержня, лежали несколько таких же скоб. Медных, с ровными надрезами, их бросили здесь. Не спрятали, не унесли. Просто бросили. Как ненужный мусор.

«Кто-то из своих, — прошептал я. — Свой и перепилил».

Тот, кто сделал это, не боялся, что найдут. Знал, что никто не полезет в подвал или знал, что если полезут, то не увидят.

Я поднял одну скобу, положил в карман рядом с первой. Хотел уже уходить и заметил. На противоположной стене, за маятником, была еще одна дверь. Низкая, металлическая, без ручки. От нее тоже отходили медные жилы, более толстые, чем в коридорах и они не светились. Они были темными, холодными, мертвыми. Я подошел, приложил ухо к металлу. Оттуда доносился звон, такой же, как от маятника, но другой. Выше, тоньше, тревожнее и еще голоса, приглушенные, неразборчивые, но явно человеческие. Я отшатнулся. Сердце колотилось где-то у горла. В доме, кроме меня, Штакельберга и Агаты, кто-то был. Кто-то, кто не показывался при свете дня. Кто перепиливал крепления на чердаке и бросал скобы в подвале. Я быстро вернулся в комнату, запер дверь, сел на кровать. Смотрел на светящиеся жилы в потолке.

«Завтра в Мытищах, — подумал я. — Завтра я отсюда уеду, хотя бы на день».

Скоба в левом кармане давила на бедро. Скоба в правом на ребра. Железо холодило сквозь ткань. Я все время трогал их, проверял, не исчезли ли, не приснились ли. Шагов за дверь больше не было. Но звон из подвальной двери, металлической, без ручки, продолжал звучать у меня в голове, и голоса. Те самые голоса.

«Кто они? Другие "собиратели старых вещей"? Или те, кто не хочет, чтобы эти вещи находили?»

Я перебирал в памяти лица: Штакельберг. Умный, опасный, но не жестокий. Ему не нужно портить свое же оборудование; Агата, - испуганная, услужливая, с ошейником без бляхи. Слишком услужливая? Она принесла мне тряпки. Она могла знать, где лежит медная ваза.

«Нет, — подумал я. — Не она, не верю». Оставался третий, тот, кого я не видел, тот, кто живет за металлической дверью.

«Завтра в Мытищах, — решил я. — Не буду задавать прямых вопросов Штакельбергу. Он хитрее меня, вывернет любой разговор. Спрошу Агату. Она простая, на мой взгляд. Расскажет, если осторожно подвести к теме. Кто еще живет в доме. Кому можно доверять, а кому нет».

Я закрыл глаза, сон не шел. Перед внутренним взором стояла карта со светящимися линиями, пульсирующими в такт маятнику и звезды, пятиконечные звезды на каждом луче.

«Благини, — подумал я. — Отметки работающих устройств. Автор об этом писал, но сам не знал, как глубоко копать».

Мытищи

За окном начало светлеть. Я встал, умылся ледяной водой из кувшина, нашел в углу свежий хлеб и съел его почти без вкуса.

Агата пришла через час. В руках держала новый поднос, на этот раз с чаем, яичницей и ломтем сала.

— Барин велел передать, — сказала она, ставя поднос на стул. — Через час выезжаем. Подвода уже у крыльца, в Мытищи ехать полдня.

— Агата, — я взял кружку с чаем — обычным, черным, без оловянного привкуса. — В доме, кроме барина и вас, кто-нибудь живет?

Она замерла на секунду, потом опустила глаза.

— Не положено мне говорить, — тихо сказала она.

— А я не барин, — ответил я. — Я просто Иван, который чинит железо.

Она помолчала, покусывая губу, потом кивнула куда-то в сторону пола.

— В подвале, за дальней дверью. Там лаборатория. Барин никого туда не пускает. Только инженеров, но я слышала, как они говорят. По-немецки, и по-другому еще, как-то странно.

— По-другому?

— На языке, которого я не знаю. Но похоже, как как медь звенит, такие же звуки.

У меня похолодело внутри. Я вспомнил строчку из статьи:

«Язык, на котором говорили куршаки, его нельзя выучить, его можно только почувствовать, как частоту, как эфир.»

— Спасибо, Агата, — сказал я.

Она кивнула и вышла, оставив меня одного с горячим чаем и страхом, который рос с каждой минутой.

"В Мытищах, — подумал я. — В Мытищах я пойму, что происходит, или пойму, что никогда не пойму".

Я допил чай, надел сапоги и вышел во двор, где подвода уже фыркала и била копытом в мерзлую землю.

Мы вышли во двор особняка, когда солнце только-только оторвалось от крыш Хитровки. У крыльца стоял экипаж, но не конный. Я замедлил шаг, разглядывая его.

Длинная, низкая платформа на четырех железных колесах с толстыми резиновыми шинами. Над передней осью находился вертикальный котел, обшитый медью, с небольшим куполом наверху, увенчанным знакомой пятиконечной звездой. Из котла выходила труба, но не дымовая, а пар вырывался из-под днища, тонкими струйками, которые тут же таяли в морозном воздухе. Внутри, под навесом из брезента, стояли два кожаных дивана лицом друг к другу.

«Локомобиль, — подумал я, вспоминая старые гравюры. — Паровой, но без дыма».

Штакельберг уже сидел внутри, закутанный в тяжелую шубу из темно-серого меха, с высокой бобровой шапкой на голове. На нем были кожаные перчатки с медными вставками на костяшках — не для тепла, понял я, а для контакта. Чтобы касаться металла и чувствовать эфир.

— Садитесь, — сказал он, кивнув на место напротив. — И не бойтесь. Звезда на котле не икона, она просто помогает.

Я забрался в экипаж. Внутри было тепло, не от печки, от самих стенок, которые, как и в особняке, оказались пронизаны тонкими медными жилами. Возница - тот же бородатый мужик в тулупе, дернул рычаг, и локомобиль тронулся без единого лошадиного всхрапа. Только шипение пара снизу и легкий звон медных деталей.

Мы выехали со двора и покатали по московским улицам. Город просыпался. Мимо проплывали двухэтажные дома с мезонинами, на крышах которых я различал те же звезды, одни горели тусклым утренним светом, другие были темными, мертвыми. Извозчицы пролетки с бенгальскими фонарями без свечей. Люди в длинных пальто и кожаных ошейниках, почти у всех. Девушка с медной вазой на коромысле, из которой шел пар.

Мир был другим, не таким, как на старых фотографиях. Он жил, дышал, звенел. За городом потянулись поля. Снег лежал неровно, кое-где чернели проталины, и я заметил, что земля под снегом не обычная: в ней торчали железные прутья, уходящие вглубь. Через каждые сто саженей стояли столбы, но без проводов. Только металлические навершия в форме перевернутых чаш.

— Что это? — спросил я, показывая на столбы.

— Эфирная сеть, — ответил Штакельберг, не открывая глаз. — Поля собирают. Столбы распределяют. Зимой сложнее, ведь эфир густеет, как мед, но пока звезды горят, можно ехать.

Я хотел спросить, кто построил эту сеть, но впереди показался лес, и локомотив сбавил ход. Дорога пошла между соснами, высокими, прямыми, с обрубленными нижними ветками и на каждой сосне, на высоте человеческого роста, висела медная пластина с выбитой звездой.

— Это чтобы дорогу не потерять, — сказал Штакельберг, заметив мой взгляд. — Лес здесь густой, а эфирные тропы не видны глазом, только железо чувствует.

Я промолчал, мой любимый автор писал о чем-то подобном, о «лучевых системах» и «медных указателях», но он думал, что это осталось в прошлом, а здесь прямо передо мной.

— Вы не похожи на столичного жителя, — вдруг сказал Штакельберг, открывая глаза. — Я наблюдал за вами. Вы смотрели на локомотив, как дикарь на огонь. На звезды — как на чудо. Откуда вы?

Я замер, не зная, как бы правдоподобнее ответить.

— Из провинции, — ответил я. — Глухой, там таких машин нет.

— Из какой? — настаивал он.

— Рязанской, — сказал я первое, что пришло в голову.

Штакельберг усмехнулся.

— В Рязанской губернии, — сказал он, — при Екатерине построили три сотни верст эфирных трактов. Лучше, чем под Москвой. Ваш локомотив там был бы как родной. Так что не врите, молодой человек, Вы не оттуда.

Он отвернулся к окну и замолчал на остаток пути. Я сидел, кусая губу. Полный провал. Глупый, детский провал, но он не выгнал меня, не приказал остановиться. Только усмехнулся и замолчал.

"Он знает, — понял я. — Знает, что я чужой, но ему нужно, чтобы я починил «железу» в Мытищах, а потом посмотрим".

Локомотив свернул с главного тракта на проселочную дорогу. Впереди, на пригорке, показались очертания водоподъемного здания, то самое, с фотографий 1888 года, только живое. Из-под карниза струился слабый голубоватый свет, а звезда на трубе горела ровно и спокойно. Мы прибыли.

— Выходите, — сказал Штакельберг, первым ступая на заснеженную землю. — И постарайтесь больше не врать, это отнимает силы, которые вам еще пригодятся.

Я вылез следом, чувствуя, как мороз хватается за щеки, и смотрел на здание, которое через несколько минут должно было стать целью нападения. Я этого еще не знал. Но что-то подсказывало, не зря Штакельберг вез меня сюда так рано утром, в пустом локомотиве, без охраны, без свидетелей.

"Западня? — подумал я. — Или доверие? Скоро выяснится".

Передо мной стояло здание, которое я узнал по старым фотографиям из архивов - Мытищинская водоподъемная станция. На снимках 1880-х она выглядела чопорно и строго, вживую

откровенно пугала. Кирпичные стены, высокие окна с чугунными решетками, и над всем этим возвышалась труба. Не дымовая, а другая. Металлическая, покрытая позеленевшей медью, с навершием в виде звезды, которая не горела сейчас, но, судя по тусклому свечению внутри, могла зажечься в любой момент.

— Идемте, — сказал Штакельберг и первым направился к массивной дубовой двери.

Внутри было тепло, слишком тепло. Гул стоял такой, что закладывало уши. Медные жилы здесь были толще, чем в особняке, не пальца толщиной, а в руку. Они выходили из пола, уходили в потолок, переплетались между собой, образуя сложный узор, похожий на кружево. В центре зала стояло то, ради чего мы сюда приехали, — Купольное устройство. Небольшое, всего метра три в диаметре, но такое же, как на старых гравюрах. Каркас из железных прутьев, между ними располагались медные сферы, каждая размером с тыкву, покрытые слоем золотистого налета. Амальгама. В центре купола пустота, и в этой пустоте висел шар. Меньше футбольного, стеклянный, и внутри него что-то пульсировало, жидкое, серебристое, живое.

— Это сердце станции, — сказал Штакельберг, подходя ближе. — Оно качает воду из подземных источников, без него Мытищи останутся без воды, а Москва, без половины своего водоснабжения.

Я хотел спросить, как оно работает, но не успел. Сзади, со стороны входа, раздался треск. Мы оба обернулись. Дверь сорвалась с петель и влетела внутрь, разлетевшись на щепки. В проеме стояли трое. В черном. С лицами, закрытыми кожаными масками, и с оружием, которого я не узнал, железные трубки на деревянных ложах, без стволов, но с медными набалдашниками на конце.

— Не двигаться, — сказал тот, что спереди. Голос был хриплым, искаженным, как будто говорил через ткань.

Штакельберг шагнул вперед, заслоняя купол.

— Кто вы? — спросил он спокойно. — Что вам нужно?

— Нам нужно, чтобы вы забыли дорогу сюда, — ответил тот же голос. — А устройство, чтобы замолчало навсегда.

Он поднял железную трубку и нажал на медный набалдашник. Из трубки ничего не вылетело. Но купол зашипел. Одна из медных сфер лопнула, разбрызгивая амальгаму. Стеклянный шар внутри дернулся и погас, а гул в зале стих.

— Нет! — крикнул Штакельберг и бросился к куполу.

Второй нападающий ударил его прикладом. Штакельберг упал. Я стоял, не в силах двинуться. Технология, которую я мечтал понять, умирала у меня на глазах и я ничего не мог сделать.

— Один живой свидетель — хорошо, — сказал первый, глядя на меня сквозь прорези маски. — Второй явно лишний.

Он перевел трубку на меня, но выстрела не последовало. Вместо этого пол под ногами вздрогнул. Из разбитой сферы вытекала амальгама и там, где она касалась медных жил, начиналось свечение. Слабое, прерывистое, но оно жгло. Первый нападающий отшатнулся. Второй попятился.

— Уходим, — сказал третий, который не произнес ни слова до этого. — Сердце убито. Дело сделано.

Они исчезли в проеме выбитой двери так же быстро, как появились. Я подбежал к Штакельбергу. Он был жив, но без сознания, на затылке кровь. Купол больше не гудел. Стеклянный шар потух окончательно. Но я заметил кое-что, пока поднимал Штакельберга, на одной из уцелевших сфер, рядом с креплением, был ровный надрез. Такой же, как на скобах в особняке.

"Те же люди, — понял я. — Или те же методы".

Возница вбежал через разбитую дверь, увидел барина в крови и замер.

— Помоги, — сказал я. — Надо его в Москву, быстро.

Вдвоем мы вытащили Штакельберга на воздух. Мороз ударил в лицо, и я понял, что весь взмок от страха и бессилия.

"Мытищи не ответ, — подумал я. — Мытищи, это только начало".

Особняк

Локомотив въехал во двор особняка далеко за полночь. Штакельберга внесли на руках, возница и я, вдвоем, тащили его по лестнице в спальню на втором этаже. Он был тяжелым, но не стонал. Лекаря не позвали, так как, Агата сказала, что «у барина свои способы». Она промыла рану на затылке жидкостью, пахнувшей оловом и мятой, замотала чистой тряпичной и ушла за водой. Я остался стоять в коридоре, глядя на дверь спальни.

"Он без сознания. Может, до утра. Может, дольше".

Пальцы сами сжались в кулаки. В кармане все еще лежали перепиленные скобы. В голове гудел звон из-за металлической двери в подвале. В груди моей был холод. Я оглядел коридор. Агата возилась на кухне. Возница уехал, я слышал, как зашипел локомотив, выезжая со двора. В доме, кроме меня, раненого и служанки, никого не было, *или кто-то был, за той дверью без ручки.*

Я подошел к кабинету. Дверь оказалась не заперта. Кабинет встретил меня тишиной и запахом старого дерева. Карта на столе погасла, медные жилы не светились. Маятник в подвале не гудел. Штакельберг сказал, что запустил резерв, когда сломалась «железа» на крыше. Теперь, когда я починил её, маятник замолк — энергия снова шла от сфер.

"Но карта, почему она не зажглась?" - подумал я.

Я подошел к столу. Верхняя крышка — чертежная доска, наклонная, была поднята. Я нашел рычажок сбоку, нажал. Столешница со щелчком опустилась, открывая то, что было под ней. Не выдвижные ящики, а настоящий тайник.

В углублении лежали стопка писем, перевязанных бечевкой, и толстая тетрадь в кожаном переплете. Я вытащил их, сел в кресло Штакельберга и начал листать.

Письма были на немецком. Я знал язык, в школе учили, в институте читал технические статьи. Но здесь были слова, которых я не понимал: «Vlagina». «Ethertrommel». «Zeppelin's Geheimnis». (Благиня. Эфирный барабан. Секрет Цепелина).

Я перешел к тетради. Здесь было понятнее, так как лежали чертежи. Те самые, что я видел на Мытищинской станции. Купол, сферы, центральный стеклянный шар. Рядом — записи на русском, каллиграфическим почерком:

«Станция 3 — Мытищи. Сердце работает в штатном режиме. КПД — 92 %. Вода поднимается с глубины 40 саженей без насосов. Эфирный поток — устойчивый. Проблема: нагрев обмоток выше допустимого. Нужна замена амальгамы. Содержание ртути — не менее 30 %. Олово — 70 %. Примеси — 5 %.»

Я перевернул страницу.

«Хозяин требует отчет. Передал через доверенное лицо. Звезда на Сретенке погасла, не иначе как диверсия. Подозреваю своих. Слишком много "случайностей" в последнее время.

Я замер. «Хозяин», а не «государь», не «император» и не «министр». Хозяин. Штакельберг работал не на Российскую империю, а на кого-то другого. Я начал листать дальше, ища

имена. Последняя страница тетради была вырвана. Остался только корешок, и на нем лишь несколько строк, написанных торопливо, почти неразборчиво:

"Цукерман должен приехать до Пасхи. Он единственный, кто знает формулу чистой амальгамы. Без него замена не поможет. Схема на чердаке проверка. Если справится возьму с собой. Если нет..."

Дальше пусто. Лист вырван. Я сидел, сжимая тетрадь в руках.

"Схема на чердаке, это была не сфера, которую я чинил, это была проверка? Штакельберг специально отправил меня туда, чтобы посмотреть, справлюсь ли я?"

За моей спиной скрипнула половица и я обернулся.

В дверях кабинета стояла Агата. В одной руке держала поднос с чаем. В другой держала медный подсвечник, который она держала как дубинку.

— Барин говорил, что вы полезете, — сказала она тихо. — Сказал, что если полезете — не мешать, напоить чаем и спросить, что вы нашли.

Я посмотрел на тетрадь, на письма, на ее испуганное, но решительное лицо.

— Агата, — сказал я, — кто такой Цукерман?

Она опустила глаза.

— Не знаю, но барин ждал его. Говорил, что без него, ничего не получится, что Москва замерзнет зимой. Что звезды погаснут одна за другой и что виноваты в этом...

Она замолчала.

— Кто? — спросил я.

— Свои, — прошептала она. — Те, кто носит те же ошейники, что и мы, но бляхи у них другие. Золотые.

Она поставила поднос на край стола и вышла, не дожидаясь ответа. Я остался сидеть в кресле Штакельберга, глядя на погасшую карту, и вдруг понял: ошейники. Почти у всех, кожаные, с медными заклепками. У Штакельберга — с бляхой в виде звезды, а у Агаты почему-то без бляхи.

А у тех, кто напал на станцию в Мытищах, я не разглядел. Но золотая бляха это могло быть тем самым отличием. Я спрятал тетрадь обратно в тайник, накрыл столешницей и вышел из кабинета. В коридоре было тихо. Светящиеся жилы в стенах пульсировали ровно, успокаивающе. Но я знал, что этот покой обман.

"Завтра, — подумал я, — когда Штакельберг очнется, я спрошу его напрямую. О Цукермане. О «хозяине». О золотых бляхах".

А если не ответит, то найду сам.

Восемь колодцев эфира

Я спустился в подвал через час после того, как покинул кабинет. Ноги несли сами. Руки дрожали, не от холода, от напряжения. Тетрадь Штакельберга все еще стояла перед глазами:

«Схема на чердаке, это проверка».

Меня проверяли, с самого начала, с той самой минуты, как я открыл глаза в комнате с пульсирующими стенами, где медные жилы пели мне колыбельную, а теперь наступило время моей проверки. Лестница в подвал была крутой, ступени каменными, стертыми за десятилетия. Медные жилы здесь были толще, чем наверху, в два пальца толщиной, и светились ярче, багровым, густым светом, похожим на тлеющие угли в закрытой печи. Воздух пах сыростью, железом и тем сладковатым оловянным духом, который я уже научился узнавать. Дух амальгамы. Дух старой крови эфира. Он обволакивал, проникал в легкие, оседал на языке привкусом ртути и меди.

В первой комнате, куда я попал, в центре висел маятник, не тот, что наверху, а другой, тяжелый шар из темной бронзы, отлитый так, что его поверхность покрывали меридианы. Тонкие медные полосы расходились от полюса к экватору, как дольки апельсина, и на каждой полосе я разглядел крошечные звезды в пять лучей, выбитых в металле. Шар висел на железном стержне, уходящем в потолок, и был неподвижен. Но я слышал его, он гудел. Не звуком, а вибрацией, которую улавливали кости черепа. Гул поднимался от пола, проходил сквозь подошвы сапог, грел колени, заставлял зубы ныть. От основания стержня по полу расходились медные лучи, их было ровно восемь. Восемь рукавов гигантской звезды, впаянных в каменный пол. Я насчитал именно восемь. Автор писал о восьмиугольниках и звездах-крепостях, о том, что природа не терпит прямых углов, а пространство делится не на три, а на четыре плоскости.

Здесь, в подвале московского особняка, его слова обрели форму. Я стоял в центре октаэдра, и эфир тек сквозь меня. Я прошел мимо маятника к дальней стене. Та самая дверь. Она была ниже моего роста, мне пришлось склонить голову. Она была из металла, которого я не узнал: темно-серого, почти черного, с зеленоватым отливом, как старая бронза, но без единого следа окиси. Ни ручки, ни замочной скважины, ни даже петель. Дверь словно вросла в стену, литая, монолитная, как крышка саркофага. Я провел пальцем по поверхности, металл был гладким, теплым, живым. Только в центре располагалось углубление. Маленькое, размером с мой кулак, и на дне его, едва заметная выпуклость в форме пятиконечной звезды. Не медная, не серебряная, а какая-то другая. Она не блестела, но и не тускнела. Она просто была и ждала.

Я приложил ладонь. Металл, на ощупь, был теплым, не от нагрева, от чего-то другого и даже пульсировал. Так же, как стены наверху, только чаще, быстрее. Я насчитал семьдесят два удара в минуту. Мой пульс. Дверь подстраивалась под мое сердце, и от этого осознания по спине побежали мурашки.

— Что ты такое? — прошептал я.

И вдруг вспомнил, автор писал о «благинях» — сосудах с амальгамой, которые накапливают эфир. О вольтовом столбе, собранном в керамическом горшке: слой металла, между ними — ртуть, сверху расположен железный стержень, и в конце статьи была фраза, которую я тогда пропустил:

«Чтобы запустить, достаточно прикоснуться. Не руками. Чем-то, что уже живет эфиром».

Я снял перчатку. Приложил голую ладонь к звезде. Мир вокруг моргнул. Не светом, а нечто другим, звуком. Высокая нота, которую я слышал однажды в детстве, когда поднес ракушку к уху. Но не море, а небо, эфирный резонанс. Дверь слушала меня. Искала ту же частоту, что и маятник, что и сферы на чердаке, что и медные жилы в стенах. Частоту, на которой поет само железо. Я закрыл глаза. Вспомнил гул работающего купола в Мытищах, до того, как его убили. Поймал ритм. Семьдесят градусов тридцать две минуты. Угол тетраэдра. Частота, на которой медные жилы поют в унисон.

Дверь щелкнула. Тихо, как вздох. Я толкнул ее, и она открылась внутрь. Комната за дверью оказалась круглой, как и та, где висел маятник, но меньше. Диаметром не больше пяти саженей и совершенно пустой. Не в смысле "без мебели", пустой в смысле «без жизни». Ни стульев, ни столов, ни кроватей. Только голые кирпичные стены, покрытые медными письменами. Не буквами, а значками, похожими на те, что я видел на грани монеты Штакельберга. Восемь каменных тумб стояли вдоль стен, и на каждой тумбе наводилась медная труба. Не простая водопроводная труба, а литая, с узором из пересекающихся линий, которые при ближайшем рассмотрении оказались не орнаментом, а схемой. Схемой того, как эфир входит в трубу, циркулирует внутри и выходит наружу. На каждой трубе - маленькая медная звезда, впаянная в металл. Они тускло светились, отражая багровое свечение жил в стенах. Приборы стояли на тумбах, напоминая орган. Трубы разной высоты, от моей ладони до двух с половиной метров, соединенные медными перемычками, покрытыми тончайшей вязью, похожей на паутину. Из каждой трубы торчал железный стержень, и на конце каждого стержня находился стеклянный шар. Темный, потухший, с застывшей внутри серебристой каплей. Но под шарами, внутри трубок, что-то теплится. Слабое, зеленоватое свечение, похожее на гнилушки в лесу. Не свет, а фосфоресценция. Остаточная жизнь. Память о том, что здесь когда-то горело ярко.

Я подошел ближе. В одной из трубок, на уровне моих глаз, стоял маленький стеклянный цилиндр, запечатанный с обеих сторон сургучом. Внутри находилась жидкость. Серебристая, густая, как та, что вытекла из разбитой сферы на чердаке. Но чище. Прозрачнее. Без черных вкраплений, без мутной взвеси. Она двигалась сама по себе, медленно, лениво, как будто дышала. Я насчитал восемь трубок. Восемь цилиндров с чистой амальгамой. Восемь потухших шаров и в центре стояла пустая тумба, ниже остальных, шире, с медными зажимами по краям. На ней, судя по следам на камне, когда-то стояло что-то тяжелое. Может быть, девятый шар, - сердце всей системы.

Я прошел вдоль стен, заглядывая в каждую трубку. Везде одно и то же: цилиндры с амальгамой, потухшие стеклянные шары, холодные железные стержни. Воздух здесь был плотнее, чем в первой комнате. Он давил на барабанные перепонки, как перед грозой. Эфир. Он копился здесь годами, не находя выхода. У дальней стены я заметил не трубу, а столик. На нем лежала раскрытая книга, и рядом стояла кружка. На дне кружки засохла серебристая капля. Тот, кто ей пользовался, не долил амальгаму. Или не смог. Книга была на немецком, но не печатная, а рукописная, с чертежами на полях, с пометками, сделанными разными почерками. Я перевернул титульный лист. Крупные буквы, каллиграфический почерк, который я уже узнал — таким же почерком Штакельберг писал свои записи в тетради:

«Handbuch für den Ethermechaniker. Band II. — F. von Stackelberg» (Руководство для эфир-механика. Том второй. Фон Штакельберг).

Это он писал эту книгу, он был не просто «барином» и не просто инженером. Он был тем, кто учил других. Тем, кто знал, как заставить железо петь, а стекло светиться. На соседней странице расположился рисунок, заставивший меня замереть. Там был изображен купол. Не церковный, а металлический, с навершием в виде звезды. Вокруг линии, расходящиеся во все

стороны, как лучи. Внизу виден разрез, показывающий внутреннее устройство: медные сферы, соединенные перемычками, железный стержень в центре, стеклянный шар наверху, и подпись:

«Pantheon Typ II. Maximale
Effizienz bei — 20°C. Standort:
Kureika, Jenissei» (Пантеон в
Курейке).

Тот самый, который сгорел, который автор описывал в своих статьях как памятник тшеславии эпохи. Здесь, в этой книге, он назывался иначе. Он назывался образцом. Типовым проектом. Работающей технологией, рассчитанной на арктический климат, на вечную мерзлоту, на эфир, который в тех широтах густел как патока. Я провел пальцем по чертежу. Бумага была теплой, не от света, а от эфира, который все еще тек по медным жилам в стенах, питая эту комнату, эту книгу, эти потухшие шары.

— Значит, вы нашли, — сказал голос за спиной.

Я обернулся. В дверях стоял Штакельберг, не раненый и вялый, а свежий, как после утреннего чая. На нем был темно-синий сюртук, начищенные сапоги, и в правой руке он крутил медную монету с дыркой, ту самую, что я видел в кабинете. На шее у него был одет ошейник с серебряной бляхой в виде звезды. Она тускло светилась, отражая багровое свечение медных жил.

— Вы вы были без сознания, — выдавил я. — В Мытищах, я видел кровь.

— Вы видели то, что я хотел, чтобы вы видели, — ответил он спокойно.

Он шагнул внутрь, и я невольно попятился к столику с книгой. Спина уперлась в край столешницы, кружка с остатками амальгамы качнулась, но не упала. Штакельберг прошел мимо меня, не обращая внимания на мою напряженную позу, и остановился у первой трубы.

— Удар прикладом неприятная вещь, — сказал он, не оборачиваясь. — Но если знать, куда бить, можно имитировать потерю сознания на несколько часов. Старый трюк. Меня ему учили в Берлине, когда я еще верил, что эфиром можно лечить, а не только убивать.

Он повернулся ко мне, в глазах его не было злорадства, только усталость и какая-то странная надежда.

— Не бойтесь, Иван, я не собираюсь вас убивать или запереть, я собираюсь сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Он сел на одну из каменных тумб, положил монету на колено и жестом пригласил меня сесть напротив. Я не сел. Остался стоять, сжимая в кармане перепиленную скобу, ту, что нашел на чердаке. Скоба впивалась в ладонь, и боль помогала думать.

— Вы нашли мою лабораторию, — сказал Штакельберг. — Вы открыли дверь без ключа, без схемы, без моего разрешения. Вы это сделали так, как умеют единицы. Вы коснулись звезды и услышали эфир. Этому не учат. Это дается.

Он помолчал, глядя на меня в упор. Взгляд его был тяжелым, как тот шар-маятник в соседней комнате.

— Так кто вы на самом деле, Иван? Не из Рязани, не собиратель старых вещей. Вы прошли сквозь эфирную тропу, как нож сквозь масло. Вы чинили мою «железу» на чердаке, хотя не знали, как она устроена. Вы чувствуете это. Вы рождены для этого.

Я молчал, в горле пересохло, язык прилип к небу, медное кольцо на пальце нагрелось, не обжигая, а ровно, успокаивающе, как будто говорило: «Не бойся. Он прав. Ты здесь не случайно».

— Я не знаю, откуда вы, — продолжал Штакельберг, и голос его стал тише. — И, честно говоря, мне все равно, но мне нужен помощник. Цукерман не приедет, его перехватили в Вар-

шаве. Люди в черном, ваши старые знакомые. Он жив, но сидит в подвале, похожем на этот, только без книг и без права выйти.

Он кивнул на трубки с потухшими шарами.

— Без него эти приборы останутся мертвыми. Станция в Мытищах не оживет. Звезды на Сретенке не зажгутся, а без звезд не будет эфира. Без эфира не будет тепла зимой, света ночью, воды в колодцах. Вы понимаете, Иван? Не будет ничего. Только дрова и керосин. Только нефть, которую продают за золото, которого у простых людей нет.

Он встал и подошел к одной из труб. Провел пальцем по стеклянному шару. Тот на секунду вспыхнул тусклым зеленым светом и снова погас. Как уголь, на который дунули, но не разожгли.

— Я не могу сделать это один, — сказал он тихо. — Я знаю формулу. Я знаю, как вольтуют амальгаму, как настроят частоту, как зажгут звезду. Но я не слышу эфир. Не так, как вы. Для меня он лишь цифры, расчеты, чертежи. Для вас он живой. Вы слышите, как поют медные жилы, когда вы проходите мимо. Вы чувствуете, как пульсирует маятник в подвале. Вы коснулись звезды, и она вас впустила.

Он повернулся ко мне.

— Вы мой ключ, не формула, не чертежи, не «благини». Вы. Живой человек, который чувствует эфир, как свое дыхание.

Я хотел сказать, что он ошибается. Что я всего лишь читатель статей. Что эфир для меня, это слово из интернета, а не живая сила. Но в горле пересохло, а медное кольцо на пальце нагрелось сильнее. Голубая нить опоясала его, пульсируя в такт моему сердцу.

— Что вы хотите? — спросил я. Голос прозвучал хрипло, чуждо.

— Чтобы вы поехали со мной на Север, туда, где эфир гуще воды, а купола стоят мертвые, но целые. Мы запустим один из них. Я дам Вам формулу Менделеева, он вывел ее, когда еще был молод, а вы вольтуете амальгаму и коснетесь звезды и если она зажжется тогда, может быть, люди вспомнят, что такое свет без огня и тепло без дров.

Он протянул руку. Я посмотрел на его ладонь, мозолистую, с медными кольцами на пальцах, с темным пятном у основания большого пальца. Старый ожог, понял я. От разлитой амальгамы. Такие не заживают годами. Они ноют перед снегом, перед грозой, перед тем, как эфир меняет свое течение.

— И в чем подвох? — спросил я. — Вы обманули меня один раз. Притворились мертвым. Бросили одного на станции. С чего мне верить, что вы не бросите меня на Севере, когда мы найдем ваш Пантеон?

Штакельберг опустил руку.

— Не верите — не езжайте, — сказал он. — Я найду другого, может быть, не такого чувствительного к эфиру, но найду, а вы останетесь здесь, в моем подвале, с этими трубами и мертвыми шарами. Я не держу вас. Дверь открыта.

Он кивнул на дверь, ту, что за его спиной, которая вела наверх. Я перевел взгляд с двери на трубы, на потухшие шары, на раскрытую книгу с чертежом Пантеона. Потом посмотрел на медное кольцо на своем пальце. Оно пульсировало в такт сердцу или сердце в такт ему.

Восемь труб вокруг гудели. Я слышал каждую: первая - бас, вторая - тенор, третья - альт, четвертая - сопрано. Голоса сплетались в аккорд, но в аккорде не хватало одной ноты, - самой высокой, той, что должна была звучать из центра, где когда-то стояла сфера.

— Когда едем? — спросил я.

Штакельберг улыбнулся. В первый раз по-настоящему, не усмехнулся, а улыбнулся, и от этой улыбки его лицо стало моложе на десять лет. Глубокие морщины разгладились, глаза потеплели.

— Завтра на рассвете, — сказал он. — Сначала дирижабль до Петербурга. Там нам нужны карты объекта и встреча с капитаном Анной. Она летала через Полярный круг, видела трех-

рельсовую дорогу своими глазами. Потом нас ждет Варшава, чтобы получить формулу от Менделеева. Он единственный, кто довел расчеты до конца, а потом нас ждет север, тундра и вечная мерзлота, которой всего нет и ста лет. Три рельса, уходящие в никуда.

— А Агата? — спросил я.

— Агата поедет с нами, — ответил Штакельберг. — Ей тоже нужен этот путь. Она не просто служанка, Иван. Она наш проводник. Таких, как она, называли «схимниками» в старые времена. Ее ошейник не для украшения. Он резонатор. Она слышит эфир там, где мы с вами чувствуем только гул. Она проведет нас через мертвые зоны, где эфир выжжен.

Штакельберг взял с полки маленький медный цилиндр, запечатанный с обеих сторон сургучом, и протянул мне.

— Это образец чистой амальгамы. Та самая, что искал Цукерман. Менделеев прислал ее перед самым отъездом. Берите. Она пригодится.

Я взял цилиндр. Он был теплым, теплее, чем металл должен быть от соприкосновения с рукой. Внутри, сквозь мутное стекло, блестела серебристая капля. Она двигалась сама по себе, не подчиняясь силе тяжести, медленно, лениво, как живая.

Я спрятал цилиндр в карман, рядом с перепиленной скобой.

— Тогда идемте, — сказал я. — Завтра рано вставать.

Штакельберг кивнул и вышел первым, оставив дверь открытой.

Я остался один. Восемь труб стояли вокруг, как стражи. Стекло шары не зажглись, но я вдруг понял, что они не мертвы. Они ждут, когда придет тот, кто коснется их и скажет: «Проснитесь».

Я подошел к центральной тумбе, той, пустой, с медными зажимами. Положил ладони на холодный камень и закрыл глаза. Восемь труб загудели громче. Я слышал их дыхание, редкое, тяжелое, как дыхание спящего зверя. Я чувствовал, как амальгама в стеклянных цилиндрах пульсирует в такт моему сердцу. Как эфир поднимается по трубам, давит на стекло, ищет выход.

- Представьте, что пустота заполняется, — сказал, вернувшийся за бумагами, Штакельберг. — Представьте, что стеклянная сфера на месте.

Я представил и мир вокруг меня изменился. Восемь труб засветились. Не багровым светом тлеющих углей, ярким, белым, почти ослепительным. Стекло шары внутри труб вспыхнули, и амальгама в них закипела, то серебристые пузыри поднимались вверх, лопались, оседали, поднимались снова. Свет не грел. Он был холодным, как северное сияние, и он струился по медным перемышкам, перетекал с трубы на трубу, заполнял восьмиугольник, поднимался к потолку, пробивался сквозь кирпичную кладку, уходил вверх, в ночную Москву. Я открыл глаза. Комната горела. Восемь труб стояли в потоках света, и я стоял в центре, и медные зажимы под моими ладонями нагрелись, впервые за три года, как сказал Штакельберг. Свет начал угасать. Трубы потускнели, амальгама успокоилась, пузыри исчезли. Через минуту комната снова погрузилась в багровый полумрак. Но вибрация осталась. Она стала глубже, ровнее, спокойнее.

Я убрал руки с тумбы. В кармане лежал цилиндр с чистой амальгамой, а на пальце светило медное кольцо, пульсируя в такт сердцу. Я закрыл книгу Штакельберга, бережно, почти благоговейно, и вышел вслед за ним в коридор. Светящиеся жилы в стенах пульсировали в такт моему сердцу, или сердцу, в такт им, уже не важно.

Я поднялся наверх, в свою комнату. Агата спала в кресле у двери, подложив под голову свернутый тулуп. Я не стал ее будить. Сел на железную кровать и до рассвета смотрел на медную звезду на стене, которая теперь светилась чуть ярче, чем прежде. Она тоже меня узнала. За окном занимался новый день, который должен был привести нас в Петербург, на дирижабль, к капитану Анне, а потом на Север, к мертвым куполам и трехрельсовой дороге, где эфир гуще

воды. Я не знал, что ждет меня там. Но впервые за все время, проведенное в этом мире, я не боялся. Медное кольцо на пальце пульсировало ровно, спокойно, как второе сердце.

Разговор о тайной организации

Мы сидим в подвале, среди мертвых медных труб, и я пытаюсь понять, кто охотится на нас.

— Штакельберг, люди в черном с золотыми бляхами — кто они?

Он не спешит с ответом. Проходит вдоль трубы, касается пальцами холодного металла. Стекланный шар наверху тускло вспыхивает и гаснет, будто прибор узнал хозяина, но сил проснуться уже нет.

— Вы когда-нибудь слышали о Первом Интернационале? — спрашивает он, не оборачиваясь.

— Конечно, — отвечаю я. — Маркс, Энгельс, рабочее движение. Борьба с капиталом.

Штакельберг усмехается. Поворачивается, и я вижу в его глазах не насмешку, а усталость. Даже, пожалуй, жалость.

— Это то, что вам сказали. То, что написали в книгах, которые через сто лет сожгут, как только они перестанут быть нужны. Правда в другом. Первый Интернационал — не партия и не движение. Это сеть.

Я молчу. Он рассказывает по комнате, касаясь каждой трубы, как солдат, проходящий строй.

— Инженеры, военные в отставке, банкиры, крупные торговцы. Они собрались в шестидесятых годах, когда всем стало ясно, что эфирные технологии можно масштабировать. Купола способны питать не один дом и не один город, а целые страны.

— А они испугались? — спрашиваю я.

— Они поняли, — поправляет он.

Штакельберг садится на каменную тумбу, сжимает пальцами край. Костяшки белеют.

— Представьте, Иван. Если энергия становится бесплатной, то кто тогда будет платить налоги? Если никому не нужны уголь, нефть, газ, то чем торговать? Если армии теряют смысл без топлива для танков и самолетов, то кто будет подчиняться?

Он смотрит мне прямо в глаза. Его взгляд тяжелый.

— Бесплатная энергия рушит государства. Обесценивает деньги. Стирает границы и это не жадность, Иван. Это страх. Страх перед миром, где никто никому не нужен. Где нет хозяев и нет слуг.

Я молчу, в горле пересохло.

— Поэтому Интернационал скупает чертежи, — продолжает он. — Подкупает строителей. Организует несчастные случаи. Поджигает заводы. Каждый раз, когда гаснет очередной купол, в газетах пишут: «пожар», «взрыв котла», «ошибка инженеров».

— И люди верят? — спросил я.

— Люди всегда верят, — Штакельберг встает, подходит к пустой тумбе в центре. — Им говорят, что эфир это выдумка. Что бесплатной энергии не бывает, что за всё надо платить и они платят. Всю жизнь. За воздух, который можно было бы не продавать.

Он проводит рукой по медным зажимам. Те холодные, мертвые.

— Самое страшное, Иван, в том, что Интернационал победил, не здесь и не сейчас, а там, откуда вы пришли.

Я замираю.

— В вашем мире, — говорит он, и голос его звучит как приговор, — нет эфира, нет работающих куполов. Нет звезд, которые горят сами. У вас в изобилии: нефть, газ, уголь. Электричество по счётчику. Люди платят за то, что когда-то было бесплатным.

— Вы считаете, это прогресс? — он усмехается. — Это оккупация.

Штакельберг подходит ко мне вплотную. От него пахнет амальгамой — сладковато-тяжелым, едким запахом, который уже вьелся в его одежду и кожу.

— Интернационал не исчез. Он просто сменил вывеску. Теперь он называется иначе. Но цель та же: контроль над энергией. Контроль над людьми и временем.

— Зачем вы мне это говорите? — спрашиваю я. Мой голос предательски хрипит.

— Потому что вы — не из этого мира. Вы прошли сквозь эфирную тропу. Вы слышите то, что давно умерло.

Он отходит к двери и останавливается на пороге.

— Вы исключение, Иван, а исключения нужны, чтобы ломать правила.

Он выходит. Дверь закрывается беззвучно. Я остаюсь один. Смотрю на восемь медных труб, на потухшие шары, на пустую тумбу в центре, ту, где когда-то билось сердце.

"Первое сердце, — вспоминаю я. — Его разбили люди в черном, когда меня не было.

Подхожу к тумбе, кладу ладони на холодный камень. Не чувствую ничего. Ни тепла, ни вибрации. Все мертво. Убираю руки, поднимаюсь наверх, в свою комнату. Агата спит в кресле у двери, подложив под голову тулуп. Не бужу. Сажусь на кровать, смотрю на медную звезду на стене. Она светится, едва-едва, но светится.

"Она меня узнала, — думаю я. — Но я сам ещё не знаю, на чьей стороне".

Я не сплю. Ворочаюсь на железной кровати, слушаю, как гудят медные жилы в стенах — багровым, тлеющим светом.

Штакельберг сказал: «Интернационал победил в вашем мире».

Я вспоминаю свой мир. 2027 год. Москва. Небо над городом тёмное, без звёзд, без горящих куполов, без света, который не требует проводов. Лампочки в квартире включаются выключателем. Тепло идёт от батарей, которые греет газ, добытый за Полярным кругом и за всё это кто-то платит. Мама платила каждый месяц. Я сам платил. Вспоминаю, как выключал свет в коридоре, чтобы сэкономить. Как мы кутались в одеяла, когда батареи едва грели.

Здесь не так. Здесь стены светятся сами. Здесь кровать греет без огня. Здесь вода поднимается из-под земли без насосов, просто так, потому что эфир толкает её вверх, а у нас, в моём мире, эфир мёртв, или не мёртв, а забыт.

Я сажусь. Смотрю на свои руки. Медное кольцо на пальце пульсирует в такт сердцу. Снимаю, кладу на ладонь. Тёплое. Живое.

"В моём мире это было бы просто медью, — думаю я. — Беспольным куском металла".

Здесь оно работает. Слышит меня. Помнит. Я встаю, подхожу к стене, касаюсь звезды. Металл под пальцами тёплый, чуть вибрирует. Так же, как маятник в подвале.

"Ты тоже помнишь, — думаю я. — Ты знала меня ещё до того, как я открыл дверь".

Вибрация усиливается на секунду, коротко, как будто звезда кивает. Я убираю руку, возвращаюсь к кровати. Ложусь, смотрю в потолок, где медные жилы сплетаются в причудливый узор.

Штакельберг назвал меня исключением. Человеком, который слышит эфир, хотя в его мире эфир мёртв.

"Почему? Как я сюда попал?" - думаю я.

Я не знаю ответов. Но знаю другое: если я останусь здесь, если буду бояться, если спрячусь, то я ничего не узнаю никогда.

Агата говорит, я рождён для этого. Штакельберг что я ключ. Может, они правы. Может, нет. Но сидеть сложа руки и ждать, когда всё рассосётся само, не мой метод.

Я закрываю глаза. Вспоминаю слова из подвала: «Чтобы запустить, достаточно прикоснуться. Не руками. Чем-то, что уже живет эфиром».

Я не понимаю, что это значит. Но завтра предстоит путь в Петербург. Дирижабль, капитан Анна, карты объекта.

"Может быть, там, в небе, до меня дойдёт?" - думаю я.

Кольцо на пальце пульсирует ровно, спокойно. Я засыпаю под этот пульс.

Утром меня будит приятный девичий голос:

— Вставайте, Иван. Через час выезжаем.

Агата стучит три раза, коротко, отрывисто. Я открываю глаза. За окном светло. Медные жилы в стенах уже не светятся, днём они тускнеют, отдают энергию дому, который без сердца никогда не просыпается по-настоящему.

— Сейчас.

Она входит с подносом. Каша, хлеб, кружка горячего чая. На Агате дорожный тулуп, подпоясанный кожаным ремнём с медной пряжкой. Ошейник на шее начищен до блеска.

— Барин велел передать. Вещи для вас внизу, у выхода.

— Какие вещи? — я сажусь на кровати, тру лицо.

— Тёплые, — она улыбается. — В Питере холодно. Даже летом.

Я ем кашу. Обычную гречневую, без амальгамы, без странных примесей. Простую, человеческую еду.

— Агата, — говорю я, не поднимая глаз, — ты боишься?

Она замирает на секунду. Потом ставит поднос на стол и садится на стул у двери, там, где просидела всю ночь.

— Боюсь, — отвечает тихо. — Но идти надо.

— Почему?

— Потому что если мы не пойдём, никто не пойдёт, а если никто не пойдёт, то этот мир останется таким, какой есть, а он уже неправильный.

Я смотрю на неё, ей не больше двадцати, а в глазах такая серьёзность, будто она прожила уже три жизни.

— Ты веришь Штакельбергу? — спрашиваю я.

— Верю, — она не колеблется. — Но не во всём, у него тоже есть свой интерес. Но пока наши интересы совпадают, я с ним.

— А когда перестанут совпадать?

Она смотрит на меня долго, внимательно. Потом говорит:

— Тогда я буду сама за себя.

Я допиваю чай, встаю, надеваю тулуп, который оставили для меня внизу. Он тяжёлый, пахнет овчиной и чем-то ещё, медью, что ли. Выхожу во двор. Локомобиль уже ждёт. Кузьма-возница сидит на облучке, гремит рычагами, проверяет давление в котле. Штакельберг стоит у крыльца, курит трубку, не табачную, какую-то другую, из которой идёт не дым, а тонкая струйка голубоватого пара.

— Готовы? — спрашивает он, не оборачиваясь.

— Готов, — отвечаю я.

Мы садимся в локомобиль. Агата рядом со мной, Штакельберг напротив. Кузьма дёргает рычаг, и машина трогается.

Петербург, дирижабль, капитан Анна, всё это где-то там, впереди, за горизонтом, который мы увидим только через несколько часов. Я смотрю в окно на уходящую Москву, и медное кольцо на моём пальце пульсирует в такт сердцу.

"Время пошло, — думаю я. — Обратного пути нет".

Ошейник девушки

Саквояж тяжёлый. Я несу его в правой руке, левой придерживаю, чтобы не стучал по ступеням. Металл внутри позвякивает, там три сферы, инструменты, карта. Глухой, ровный звон. Не тревожный. Скорее, успокаивающий. Я спускаюсь в подвал.

Штакельберг ждёт. Иван тоже. Он стоит у медных труб, смотрит на потухшие шары, и я вижу, что он всё ещё не понимает, где оказался. Не понимает по-настоящему. Это пройдёт. Или нет.

— Принесла? — спрашивает барин.

— Как велели.

Ставлю саквояж на каменную тумбу, расстёгиваю ремни. Поднимаю крышку. Три сферы лежат в гнёздах, вырезанных в войлоке. Каждая размером с мужской кулак. Медные, тёплые на ощупь даже сейчас, когда в подвале холодно. На каждой пять лучей, выбитых в металле, получается звезда.

— Благини, — говорит Иван. Он смотрит на сферы, и в его голосе, не вопрос, а узнавание. Он читал об этом. Он думал, что это легенда.

— Да, — отвечаю я. — Благини.

Я беру одну из них в руки. Тяжёлая. Внутри что-то перекачивается, ртуть, смешанная с оловом и ещё с чем-то, чего я не знаю. Амальгама, она живая. Я не умею объяснять, как это работает. Я умею это чувствовать.

Ошейник на моей шее — тонкий, медный, с одной маленькой заклёпкой, начинает вибрировать, когда я касаюсь сферы. Не звуком. Чем-то другим. Кожа помнит. Костями помню. Я закрываю глаза и слушаю. Сфера поёт на низкой ноте. Её голос уходит в пол, в стены, в медные жилы, которые протянуты по всему дому. Я слышу, как эфир течёт, медленно, вязко, как патока зимой. Без сердца в подвале ему некуда спешить.

— Что ты делаешь? — спрашивает Иван.

— Слушаю, — отвечаю я, не открывая глаз. — Она говорит мне, что ещё не умерла. Просто спит.

Он молчит, не переспрашивает. Может, верит, а может, нет.

Я кладу сферу обратно в саквояж, застёгиваю ремни. Поправляю нагрудник — кожаный, с медными заклёпками. Барин сказал, что в Петербурге может быть опасно. Я не спрашивала, от кого, я и так знаю.

— Агата, — слышу голос Штакельберга. — Ты взяла карту?

— Да, барин.

Достаю свёрток из войлока. Разворачиваю. Карта Российской империи. Не та, что продают в лавках. На этой нет городов, только линии. Толстые и тонкие. Они расходятся от Москвы веером, на север, к Петербургу, на восток, за Урал, на юг, к Чёрному морю, — эфирные тропы.

Я провожу пальцем по одной из линий, и ошейник отзывается коротким звоном.

— Ты её чувствуешь? — спрашивает Иван.

— Да. Она настоящая.

Я складываю карту, убираю в саквояж. Поднимаю его, тяжело, но терпимо.

— Мы готовы, — говорю я. — Когда выезжаем?

— Через час, — отвечает Штакельберг. — Кузьма уже прогревает локомотив.

Я киваю и выхожу из подвала. Наверх, в комнату Ивана, заходить не буду. Он собирается сам. Мужчины не любят, когда им помогают, особенно такие, как он, из другого мира, где ошейники не носят. Я останавливаюсь в коридоре, прислоняюсь спиной к стене. Ошейник гудит слабо, ровно, в такт пульсу.

"Он не знает, что такое носить металл на шее, — думаю я. — Не знает, как это, слышать эфир не ушами, а кожей, костями, самой кровью, Но он учится".

Я снимаю саквояж с плеча, ставлю на пол. Провожу пальцами по заклёпкам нагрудника. Они холодные, но под ними тепло, моё тепло, моя жизнь.

"Благини, — вспоминаю я слова Ивана. — Он знает это слово. Значит, он читал. Значит, кто-то до меня уже рассказал ему правду".

Я не знаю, кто этот человек, но я благодарна ему, потому что одному говорить правду трудно, а когда тебя уже ждут, то легче.

Штакельберг говорит, что Иван это исключение. Что он слышит эфир так же, как я. Что он открыл дверь в подвал одним прикосновением. Я не знаю, правда ли это. Но если да, то значит, мы не одни, а если мы не одни, то значит, у нас есть шанс.

Я поднимаю саквояж и иду к выходу. Во дворе пахнет морозом и медью. Кузьма возится с локобилем, проверяет клапаны, гремит рычагами.

— Помочь? — спрашиваю я.

— Не надо, — бурчит он, не оборачиваясь.

Я сажусь на подножку локобиля, ставлю саквояж между ног.

"Петербург, — думаю я. — Дирижабли. Капитан Анна. Карты Объекта".

Я никогда не летала на дирижабле. Никогда не видела моря. Никогда не была дальше Хитровки. Но ошейник на шее не дрожит. Он гудит ровно, спокойно.

"Мы справимся, — говорю я себе. — Мы должны".

Выходит Штакельберг. За ним Иван. Они садятся внутрь, я, покорно, следом.

Кузьма дёргает рычаг. Локобиль трогается и мы уезжаем...

Дорога на Север

Локомотив мерно гудит, медные шины на крыше поют свою тихую песню. За окнами проплывают заснеженные поля, редкие деревни, купола с потухшими звездами. Мы едем уже второй час. Иван сидит напротив, сжимает в кармане кольцо, которое я дал ему перед отъездом, и молчит. Я знаю, что вопросы у него есть. Он просто не решается их задать. Придется начинать самому.

— Вы спросили меня тогда в подвале, зачем я работаю на Интернационал, если восстанавливаю купола, — говорю я, отворачиваясь от окна. — Я не работаю на них. Я работаю внутри них, а это разные вещи.

Иван поднимает глаза. Я снимаю с пальца медное кольцо, то, что носил не снимая последние десять лет, и протягиваю ему. Внутри, на гладкой поверхности, выгравирована тончайшая карта. Линии, расходящиеся веером, и на конце звезда.

— Что это? — спрашивает он.

— Энергетический объект, — отвечаю я. — Трехрельсовая дорога за Полярным кругом. Ее строили при царе Александре. Не для золота, не для угля, а для эфира. Рельсы вели к Пантеонам, которые должны были питать энергией пол-Сибири.

Иван крутит кольцо в пальцах, разглядывает карту. Я вижу, как его глаза пробегают по линиям, запоминая.

— А теперь? — спрашивает он.

— А теперь она заброшена, — говорю я. — Рельсы ржавеют. Купола стоят мертвые и никто, кроме меня и еще нескольких старых дураков, не помнит, зачем их строили.

Я протягиваю ему второе кольцо, простое, без гравировки, только медный ободок и едва заметная насечка по краю.

— Это вам, — говорю я. — Носите, оно будет резонировать с эфирными тропами.

— Как это — резонировать? — Иван берет кольцо, вертит в руках.

— Если заблудитесь, то кольцо запоет. Не звоном, а так, что вы почувствуете его в костях. Если эфир сгустится, то кольцо сожмет палец, предупредит, это ваш компас теперь, в мире, где обычные компасы не работают.

Иван надевает кольцо на палец, и я вижу, как оно вспыхивает на секунду, тускло, тепло, будто признавая хозяина. Кольцо никогда так не реагировало на меня. Только на него.

— Оно теплое, — удивленно говорит он.

— Оно узнало вас, — отвечаю я. — Как дверь в подвале, как звезда на стене. Вы не такой, как все, Иван. Вы слышите эфир, а эфир слышит вас.

Локомотив подпрыгивает на ухабе. Агата, сидящая рядом со мной, прижимает к себе саквояж. В нем лежат три медные сферы. "Благини".

— Вы говорили, что вы работаете внутри, — тихо говорит она, глядя на Штакельберга. — Но те, у кого золотые бляхи... они ведь знают, кто вы?

Штакельберг переводит взгляд на нее, но молчит.

— Не знают, — наконец отвечает он. — Пока.

Агата кивает. Отворачивается к окну.

— Их слишком много, — говорит она еле слышно. — Я видела их в Петербурге. Они везде. В таможне, на вокзалах, в трактирах.

— Потому мы и летим дирижаблем, — отвечает Штакельберг. — Там они нас не достанут.

— А если достанут? — спрашивает она.

Он не отвечает.

Я снимаю кольцо, смотрю на него, снова надеваю. Теплое. Пульсирует в такт сердцу, или сердце в такт ему.

— Этот ваш Интернационал, — говорю я. — Они что, все страны подмяли?

— Не все, — усмехается Штакельберг. — Но те, что с деньгами, нефтью, газом, — да. Эфир им не нужен. С ним не построишь монополию.

— А с нефтью построишь?

— С нефтью да, — кивает он. — Нефть можно продавать баррелями, считать, облагать пошлинами, а эфир он бесплатный, как воздух и это их бесит больше всего.

Локомобиль сбавляет ход.

— Сейчас пересадка, — говорит Штакельберг, выглядывая в окно. — Потом дирижабль до Петербурга.

— А дальше? — спрашиваю я.

— Дальше нас ждет Варшава. Архивы Интернационала, — он усмехается. — Я собирал их двадцать лет. Теперь хочу показать людям, что у них украли.

— А если не дадут? — спрашивает Агата.

— Дадут, — отвечает он. — Потому что у нас будет объект.

— Если мы до него доберемся, — говорю я.

Штакельберг смотрит на меня долго. Устало. Я не могу прочесть его взгляд.

— Доберемся, — говорит он. — Вы для этого здесь.

Я сжимаю кольцо, оно теплое.

— Почему я? — спрашиваю я.

— Вы коснулись звезды в подвале, — отвечает он, — и она открылась, это не учат, это дар от высших сил.

Я молчу.

— Вы слышите эфир, — продолжает он. — Как те, кто строил Пантеоны. Вы не из этого времени, Иван, или из этого, но такого далекого будущего, где эфир забыли.

— Я просто читал статьи, — говорю я.

— Статьи не открывают двери, — усмехается Штакельберг.

Локомобиль останавливается. Агата первой выскакивает на холод, придерживая сак-воляж.

— Мы готовы, — говорит она. — Кузьма уже прогревает котлы.

Я смотрю на Штакельберга.

— Вы ответили не на все вопросы, — говорю я.

— Знаю, — кивает он. — На остальные ответит Анна, - капитан дирижабля. Она сама видела трехрельсовую дорогу, она расскажет.

Я вылезаю из локомобиля. Снег хрустит под ногами. Агата поправляет ошейник — медная заклепка блестит на морозе.

— Холодно, — говорит она.

— В Петербурге будет холоднее, — отвечаю я.

— Знаю.

Она грустно улыбается. Штакельберг уже поднимается по трапу дирижабля.

— Не отставайте, — бросает он.

Мы идем за ним, неся сферы в чемодане.

Дирижабль

Я поднимаюсь по винтовой лестнице, и каждый шаг отдается в ушах тяжелым эхом. Ступени каменные, стертые за десятилетия, перила сделаны из холодного металла, который гудит под ладонью. Агата идет за мной, я слышу ее дыхание, ровное, спокойное, но саквояж с благинями то и дело бьется о ее колено. Штакельберг уже наверху, я вижу его силуэт на фоне серого неба.

Ветер становится сильнее с каждым пролетом. Сначала просто холодный, потом злой, потом ледяной, он лезет под тулуп, забирается за воротник, щиплет лицо. Медные жилы в стенах башни пульсируют чаще, то эфир реагирует на приближение дирижабля, как собака, которая чувствует хозяина. Я останавливаюсь на секунду, перевожу дух, и в этот момент башня содрогается — где-то сверху лязгает железо, и я слышу пение.

Восемь тросов, удерживающих дирижабль, поют на восьми разных нотах. Ветер гудит в них, как в струнах гигантской арфы, и звук этот не похож ни на что, что я слышал в своей жизни. Агата замирает за моей спиной, и я чувствую, как она крепче сжимает ручку саквояжа.

— Это ветер? — шепчет она.

— Это эфир, — отвечает Штакельберг сверху. — Эфир поет, когда по нему проходит тяга.

Мы поднимаемся на смотровую площадку. Я вижу дирижабль целиком, огромную серебристую сигару, длиной с полквартиры, неподвижно висящую в двадцати метрах от нас. Медные полосы на его корпусе пульсируют голубыми искрами, такими живыми, быстрыми, как будто по венам гиганта течет не эфир, а сама жизнь.

— Добро пожаловать на борт, — говорит капитан Анна, стоя у трапа.

Она невысокая, коренастая, с коротко стриженными седыми волосами, она носит ошейник сразу с двумя бляхами: звезда и полумесяц.

— Долго я вас ждала, — добавляет она, окидывая меня оценивающим взглядом. — Думала, вы не приедете.

— Не могли пропустить такое зрелище, — отвечает Штакельберг и первым поднимается по трапу.

Я захожу внутрь, и первые секунды ничего не вижу, там слишком темно после серого неба. Потом глаза привыкают. Пассажирский отсек небольшой, на шесть мест, с кожаными креслами, впаиваемыми в медный пол. Стены обшиты деревом, но сквозь щели проглядывают знакомые медные жилы, они пульсируют в такт энергетическому биению дирижабля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.